

Осенние истории

РУССКАЯ КЛАССИКА



Магистраль. Коллекция

Сборник

**Осенние истории.
Русская классика**

«ЭКСМО»

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)-44

Сборник

Осенние истории. Русская классика / Сборник — «Эксмо»,
— (Магистраль. Коллекция)

ISBN 978-5-04-251613-9

«Унылая пора! Очей очарованье!» — эти строки Александра Пушкина стали воплощением осени, которая вдохновляла многих русских писателей. Багряно-желтыми опушками леса и кострами рябин. Кленовыми аллеями, ароматами опавшей листвы и антоновских яблок. Гудением самовара, доносящимся из деревенской избы. Букетами астр и георгин. Грибниками и охотниками на лесных тропах. Дождем и туманом, улицами, утопающими во мгле. Тоской о былой любви... В сборник вошли рассказы А. Куприна, И. Бунина, Н. Лухмановой, Н. Петровской, К. Паустовского и других мастеров русской прозы.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)-44

ISBN 978-5-04-251613-9

© Сборник
© Эксмо

Содержание

Александр Куприн	6
Пустые дачи	7
Осенние цветы	9
Александр Федоров	14
Осенняя поэма	15
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Осенние истории

(сост. *Наталья Артёмова, Анна Жиркова*)

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026

* * *

Александр Куприн

1870–1938

Пустые дачи

О, как долго памятна будет мне эта таинственная ночь, в которую лето сделалось осенью.

Было в ней что-то напряженное, и страстное, и нежное, и болезненное, как в последней ласке перед разлукой, как в долгом прощальном поцелуе, смешанном со слезами. Неподвижные облака на небе, внимательные звезды, тихое море, томные деревья – все притаилось в чутком и тревожном ожидании, в молчании, в предчувствии... Может быть, они вспоминали о прошлой зиме, о снеге, о холоде, о ветре?

Мы сидели на самом краю обрыва, над морем. И вот настала тишина, – тот странный внезапный момент тишины, который слышишь иногда даже в городе, в разгар дневного шума. Оборвались дрожащие звуки мандолины, стихли разговоры, и замер золотой девический смех.

Кто-то произнес мечтательно и грустно:

– Это последняя ночь лета. Последняя ночь...

Помню: я тогда поглядел направо, на юг. Там – от земли до полнеба – сгрудились тяжкие сонные тучи и в них бегали зарницы. А под ними простирались кроткие усталые поля и черные холмы, и редкие деревья стояли, как черные печальные призраки.

И почудилось мне, что там, на полях, сверх холмов и деревьев, лежит кто-то большой, невидимый, всезнающий, жестокий и веселый, – лежит молча, на животе и на локтях, лежит, подперев ладонями густую курчавую бороду. Тихо, с злобной радостью улыбается он чему-то идущему и молчит, и молчит, и лукаво щурит глаза, играющие беззвучными фиолетовыми молниями...

Потом сразу стало холодно. Поднялся ветер с востока. Мы ушли...

А под утро с моря, из-за той вон далекой прямой черты, оттуда, снизу, вырвалась буря – вся черная, в белой косматой пене. В страхе шарахнулись волны на берег, в ужасе заметались деревья, простирая в одну сторону дрожащие бессильные руки, и наш дом до утра трясся под напорами ветра.

Что делалось тогда на море! Там грохотали тысячи нагруженных телег, шумел лес, взрывались скалы, кто-то в ярости рвал пополам исполинские куски шелка... А когда мы проснулись, была осень.

Так началась осень...

И вот я еду сегодня на велосипеде по узкой извилистой дорожке парка. Хрустит и взвизгивает гравий под колесами. Левая сторона лица моего обращена к солнцу, и ей тепло, а правой холодно.

По бокам дорожки – плотные, мелкие кусты. Сквозь них теперь сквозит небо и кажется таким густым, таким невероятно синим. Все стало просторно, голо, неряшливо и неуютно, точно знакомая комната, из которой вынесли мебель. Шелестят серебряным звуком коричневые, скоробившиеся листья...

Гимназистом я однажды через две недели после летних каникул вернулся на дачу, где провел три месяца. Было все пустынно, тихо, глухо и грустно. О, как хорошо помню я эту задумчивую грусть, эту сладкую медленную тоску, от которой, как от вина, сжималось сердце и кружилась голова. «Все, что прошло, – думал я, – все осталось в моей памяти, оно – мое, во мне, я могу его вызвать силой воображения. Но ничто, ничто не вернется больше! Ни одна черта!»

Так я думал тогда, но теперь моя душа не воспринимает уже более этой поэтической, нежной печали: в ней бессильно и горько шевелится только грусть по прежней грусти. Плачет беззлобная, смирившаяся зависть...

Оставленные пустые дачи. Окна криво забиты снаружи досками. Кругом сор – тот сор, который всегда остается от дачников. На клумбах среди обнаженной черной земли доцветают

яркие астры и георгины. Я слышу их травянистый, меланхолический осенний запах... Здравствуй, осень моей жизни!

Вечером к нам на балкон приходят чужие, брошенные голодные собаки. Они тихо, без волнения жмутся к ногам и робко заглядывают в глаза просящими, испуганными глазами. Они останутся здесь на зиму. Мне страшно думать о тех лютых ночах, когда они будут дрожать от холода и ужаса, в снегу, под занесенными балконами... Море ревет в эти ночи, и деревья стонут от ветра, и кругом не горит ни одного огня... Бедные, ласковые друзья, что вы будете чувствовать, кому вы будете жаловаться в эти ночи?

По праздникам к нам уже не наезжают нарядные парочки, которые ходят, обнявшись и колеблясь от любви и оттого, что не смотрят на дорогу, а на небо или в глаза друг другу. Зато приезжают мрачные люди, с галстуками на боку, с растерянным взглядом, и ходят в одиночку по глухим местам у моря и в парке.

Гравий шуршит под гуттаперчей колес. Вот место, где одной ночью в начале июня моего лица неожиданно коснулась ветка сирени, и я вздрогнул, сначала от испуга, а потом от счастья, потому что мне показалось, что это цветок поцеловал меня в щеку. Вот еще одно место. Здесь я встретил одну девушку. Она была мне незнакома, и я потом не встречал ее больше. Из глаз ее лился снопами голубой свет, в котором было все: радость жизни, восторг молодости, сияющее счастье первой любви. Помню, я улыбнулся, и она ответила мне – она улыбнулась так лучезарно, так эгоистично-виновато, так прекрасно-легкомысленно. Она прошла дальше. Я оглянулся. Она не шла, а точно танцевала, не касаясь ногами земли, как мотылек, опьяненный светом. И мне захотелось упасть на землю и целовать те места, на которые ступали ее белые туфли. Почему? Я не знал этого...

А вот старая гнилая скамейка. На ней вырезаны чьи-то имена и девизы. О, милая!

Здравствуй, моя осень. В моем сердце не осталось даже грусти. Но я благословляю и ветку, и девушку, и море, и холодное небо, и печальные последние георгины...

1904

Осенние цветы

Мой милый, сердитый друг! Я потому пишу – сердитый, что заранее воображаю себе: сначала ваше изумление, а потом негодование, когда вы получите это письмо и узнаете из него, что я не сдержала слова, обманула вас, уехав внезапно из города, вместо того чтобы ждать вас завтра вечером, как это было условлено, в моей гостинице. Дорогой мой, я просто-напросто бежала от вас, или нет, вернее – от нас обоих, бежала от того мучительного, неловкого и ненужного, что неминуемо должно было произойти между нами.

И не торопитесь с едкой улыбкой на губах обвинять меня в спасительном благоразумии: ведь вам больше всех на свете известно, как оно покидает меня в самых нужных случаях! Бог свидетель, до последней минуты я не знала, поеду ли я на самом деле или не поеду. Вот и теперь я совсем не уверена в том, что до конца устою против нестерпимого соблазна еще один раз, хоть мельком, хоть издали взглянуть на вас.

Я даже не знаю, удержусь ли я от того, чтобы не выскочить из вагона после третьего звонка, и потому, окончив это письмо (если только мне удастся его окончить), я отдам его носильщику и прикажу ему опустить письмо в ящик в тот самый момент, когда поезд тронется. А я буду из окна следить за ним и чувствовать, точно при прощании с вами, как тоскливо, тоскливо сожмется мое сердце.

Простите меня: все, что я говорила вам о лиманах, о морском воздухе и о докторах, будто бы улавливающих меня сюда из Петербурга, все это было неправдой! Я приехала только потому, что меня вдруг неудержимо потянуло к вам, потянуло снова изведать хоть жалкую частицу того горячего, ослепительного счастья, которым мы когда-то наслаждались расточительно и небрежно, точно сказочные цари.

Я думаю, из моих рассказов вы могли составить себе довольно ясное понятие об образе моей жизни среди того громадного зверинца, который называется петербургским обществом. Визиты, театры, балы, обязательные четверги у нас, благотворительные базары и т. д. и т. д., и во всем этом я должна участвовать в качестве красивой вывески над служебными и коммерческими делами мужа. Только, пожалуйста, не ждите от меня избитой тирады о мелочности, пустоте, пошлости, лживости, – я уж не помню, как это говорится в романах, – нашего общества. Я втянулась в эту жизнь, полную комфорта, приличных манер, свежих новостей, связей и влияний, и у меня никогда бы не хватило сил от этой жизни отказаться. Но сердце мое не участвует в ней. Мечутся предо мной какие-то люди, говорят какие-то слова, и сама я что-то делаю, что-то говорю, но ни люди, ни слова не затрагивают моей души, и мне минутами кажется, что все это происходит где-то в страшном отдалении от меня, точно в книге или на картине, точно «понарочку», как выражалась когда-то моя нянька – Домнушка.

И вдруг среди этой тусклой и равнодушной жизни меня, точно волной, взмыло наше милое, сладкое прошлое. Случалось ли вам когда-нибудь проснуться под впечатлением одного из тех странных снов, которые так радостны, что после них целый день ходишь в каком-то блаженном опьянении, и в то же время так бедны содержанием, что если их рассказать не только постороннему, но даже самому близкому человеку, – выйдет ничтожно и плоско до смешного. Рассказывающие хорошо свои сны часто лгут, говорит у Шекспира Меркуцио, и – боже мой, какая в этом глубокая психологическая правда!

Ну, так вот и я однажды проснулась утром после такого сна. Я видела себя в лодке вместе с вами где-то далеко-далеко в море. Вы сидели на веслах, а я лежала на корме и глядела в голубое небо. Вот и все. Лодка тихонько покачивалась, а небо было такое глубокое, что мне временами казалось, будто я гляжу вниз в бездонную пропасть. И какое-то непостижимое, радостное чувство так нежно, так гармонично овладело моей душой, что мне захотелось в одно и то же время заплакать и засмеяться от избытка счастья. Я проснулась, но этот сон остался в моей

душе, точно прирос к ней. Небольшим усилием воображения мне часто удавалось вызывать его в памяти и вместе с этим вновь испытать слабую тень той радости, которая его сопровождала.

Иногда это случалось в гостиной, во время какого-нибудь пустого разговора, который слушаешь не слыша, и тогда я должна была закрывать на несколько мгновений руками глаза, чтобы не выдать их неожиданного сияния. О, как сильно, как неотступно повлекло меня к вам. Точно живая, воскресла предо мной пленительная волшебная сказка, в которой промелькнула шесть лет тому назад под ласковым южным небом наша любовь. Все мне вдруг вспомнилось: внезапные ссоры, с нелепой ревностью и смешными подозрениями, и веселые примирения, после которых наши поцелуи приобретали новую прелесть первого поцелуя; нетерпеливые ожидания в условленном месте; чувство тоскливой пустоты в те минуты, когда мы, расставшись вечером, чтобы сойтись опять на другой день утром, по многу раз оборачивались одновременно назад и издали, из-за плеч разделявшей нас толпы, розовой от пыльного солнечного заката, встречались глазами; вспоминалась мне вся эта сверкающая жизнь, полная могучего, неудержимого счастья!

Мы не могли усидеть на месте. Нас жадно тянуло к новым местам и новым впечатлениям. Как хороши были наши далекие поездки в этих допотопных, душных дилижансах, завешанных грязной парусиной, в обществе хмурых немцев, с жилистыми красными шеями, с лицами, точно вырезанными грубо из куска дерева, и чинных тощих немок, которые делали широкие, изумленные глаза, прислушиваясь к нашему сумасшедшему хохоту. А эти случайные завтраки у какого-нибудь «доброго, старого, честного колониста», под тенью цветущей акации, в глубине маленького, чистенького дворика, обнесенного белой низкой стеной и усыпанного морским песком? С каким невероятным аппетитом набрасывались мы на жареную скумбрию и на местное мутное и кислое вино, не переставая делать тысячи нежных и смешных глупостей, вроде того исторического дерзкого поцелуя, который заставил всех дачников в негодовании обернуться к нам спинами. А теплые июльские ночи на тонях?.. Помните ли вы этот удивительный лунный свет, который был так ярок, что казался преувеличенным, неправдоподобным; это спокойное озаренное море, играющее переливами серебристого муара, а на его блестящем фоне темные силуэты рыбаков, которые, выбирая сети, однообразно и ритмично, все сразу наклоняются в одну и ту же сторону?

Но иногда нами овладевала потребность в городском шуме, в сутолоке, в чужих людях. Затерявшись в незнакомой толпе, мы бродили, прижавшись друг к другу, и еще теснее, еще глубже сознавали нашу взаимную близость. Помните ли вы это, дорогой мой? Что касается меня, я помню каждую мелочь и болею этим. Ведь это все мое, оно живет во мне и будет жить всегда, до самой смерти. Я никогда, если бы даже хотела, не в силах отделаться от него... Понимаете ли, – никогда; а между тем его на самом деле нет, и я терзаюсь сознанием, что не могу еще раз по-настоящему пережить и перечувствовать его. Бог или природа, – я уж не знаю, кто, – дав человеку почти божеский ум, выдумали в то же время для него две мучительные ловушки: неизвестность будущего и незабвенность, невозвратность прошедшего.

Получив мою короткую записочку, которую я послала вам из гостиницы, вы тотчас же поспешили ко мне. Вы торопились и были взволнованы: это я узнала издали по вашим скорым, нервным шагам и по тому еще, что, прежде чем постучаться, вы довольно долго стояли в коридоре около моего номера. Я сама взволновалась в эту минуту не меньше вас, представляя себе, как вы стоите там, за дверью, всего в двух шагах от меня, бледный, крепко притиснув руку к сердцу, глубоко и трудно переводя дыхание... И почему-то в то же время мне казалось невозможным, несбыточным, что я сейчас, через несколько секунд, увижу вас и буду слышать ваш голос. Я испытывала настроение, похожее на то, которое бывает в полусне, когда довольно ясно видишь образы, но вместе с тем, не просыпаясь, говоришь себе: это неправда, это – сон.

Вы изменились за это время, возмужали и как будто бы выросли; черный сюртук идет к вам гораздо больше, чем студенческий мундир, манеры у вас стали сдержанней, глаза смотрят

уверенней и холодней, модная остроконечная бородка положительно красит вас. Вы нашли, что я тоже похорошела, и я охотно верю, что вы сказали это искренно, тем более что я прочла это в вашем первом, беглом и несколько удивленном взгляде. Ведь каждая женщина, если она не безнадежно глупа, никогда не ошибется насчет того впечатления, которое произвела ее наружность...

Когда я ехала сюда, то всю дорогу, сидя в вагоне, старалась представить себе нашу встречу. Признаюсь, я никак не думала, что она выйдет такой странной, напряженной и неловой для нас обоих. Мы обменивались незначительными, обыденными словами о моей дороге, о Петербурге, о здоровье, но глазами мы пытливо всматривались в лица друг друга, ревниво отыскивая в них новые черты, наложенные временем и чужой, незнакомой жизнью... Разговор у нас не вязался. Начав его на «вы», в искусственно-оживленном тоне, мы оба скоро почувствовали, что нам с каждой минутой становится все тяжелее и скучнее его поддерживать. Между нами как будто бы стояло какое-то постороннее, громоздкое, холодное препятствие, и мы не знали, каким образом удалить его.

Весенний вечер тихо угасал. В комнате сделалось темно. Я хотела позвонить, чтоб приказать принести лампу, но вы попросили меня не зажигать огня. Может быть, темнота способствовала тому, что мы решились, наконец, коснуться нашего прошлого. Мы заговорили о нем с той добродушной и снисходительной насмешкой, с какой взрослые говорят о своих детских шалостях, но, странно, чем больше мы старались притворяться друг перед другом и сами перед собой – веселыми и небрежными, – тем печальнее становились наши слова... Наконец мы и совсем замолчали и долго сидели – я в углу дивана, вы – на кресле, – не шевелясь, почти не дыша. В открытое окно к нам плыл смутный гул большого города, слышался стук колес, хриплые вскрикивания трамвайных рожков, отрывистые звонки велосипедистов, и, как это всегда бывает весенними вечерами, эти звуки доносились до нас смягченными, нежными и грустно-тревожными. Из окна была видна узкая полоса неба – цвета бледной вылинявшей бронзы, – и на ней резко чернел силуэт какой-то крыши с трубами и слуховой вышкой, чуть-чуть сверкавшей своими стеклами. В темноте я не различала вашей фигуры, но видела блеск ваших глаз, устремленных в окно, и мне казалось, что в них стоят слезы.

Знаете ли, какое сравнение пришло мне в голову в то время, когда мы молчали, перебирая в уме наши милые, трогательные воспоминания? Мы точно встретились с вами после многих лет разлуки на могиле человека, которого мы оба любили когда-то одинаково горячо. Тихое кладбище... весна... везде молодая травка... сирени цветут, а мы стоим над знакомой могилой и не можем уйти, отряхнуться от объявивших нас смутных, печальных, бесконечно милых призраков. Этот покойник – наша старая любовь, дорогой мой!

Вы вдруг прервали молчание, вскочив с кресла и резко его отодвинув.

– Нет, так нельзя! Мы совсем измучим себя! – воскликнули вы, и я слышала, как тоскливо задрожал ваш голос. – Ради бога, пойдемте на воздух, потому что иначе я расплачусь или сойду с ума!..

Мы вышли. В воздухе была уже разлита полупрозрачная, мягкая, смуглая тьма весеннего вечера, и в ней необыкновенно легко, тонко и четко рисовались углы зданий, ветки деревьев и контуры человеческих фигур. Когда мы прошли бульвар и вы подозвали коляску, я уже знала, куда вы хотите меня повезти.

Там все по-прежнему. Огромная площадка, плотно утрамбованная и усыпанная крупным желтым песком, яркий голубой свет висячих электрических фонарей, резвые, бодрящие звуки военного оркестра, длинные ряды легких мраморных столиков, занятых мужчинами и женщинами, стук ножей, неразборчивый и монотонный говор толпы, торопливо снующие лакеи, – все та же подмывающая обстановка дорогого ресторана... Боже мой! Как быстро, безостановочно меняется человек и как постоянны, непоколебимы окружающие его места и предметы. В этом контрасте всегда есть что-то бесконечно печальное и таинственное. Знаете ли, попадались мне

иногда дурные квартиры, даже не просто дурные, а отвратительные, невозможные и притом связанные с целой кучей неприятных событий, огорчений, болезней. Переменишь такую квартиру, и прямо кажется, что в царство небесное попал. Но стоит через неделю-другую проехать случайно мимо этого дома и взглянуть на пустые окна с приклеенными белыми билетиками, и – душа сожмется от какого-то мучительного, томного сожаления. Правда, было здесь гадко, было тяжело, но все-таки здесь как будто бы осталась навеки целая полоса твоей жизни, – невозвратимая полоса!

Так же, как и раньше, у ворот ресторана сидят девушки с корзинами цветов. Помнишь, ты всегда выбирал для меня две розы: темно-карминную и чайную? Когда мы проходили мимо, я по внезапному движению твоей руки заметила, что ты и теперь хочешь сделать то же самое, но ты вовремя остановился, и как я тебе за это благодарна, милый!

Под сотнями любопытных взглядов мы прошли в легкую беседку, которая так дерзко повисла со страшной высоты над морем, что когда глядишь вниз, перегнувшись через перила, то не видишь берега и кажется, что плаваешь в воздухе. Под нашими ногами шумело море; сверху оно казалось таким черным и жутким! Недалеко от берега торчат из воды большие, черные, угловатые камни. На них то и дело набегали волны и, разбившись, покрывали их буграми белой пены; когда же волны уходили назад, то отшлифованные прибоем мокрые бока камней блестели, как лакированные, отражая свет электрических фонарей. Иногда налетал легкий ветерок, насыщенный таким крепким, здоровым запахом морских водорослей, рыбы и соленой влаги, что от него сама собой расширялась грудь и вздрагивали ноздри...

А нас все сильнее, все тягостнее сковывало что-то нехорошее, скучное, принужденное... Когда принесли шампанское, ты, наливая мой бокал, сказал с мрачной шутливостью:

– Попробуем хоть искусственно приподнять себя. Выпьем этого храброго, доброго вина, как говорят пыльные французы.

Нет, нам все равно не помогло бы и храброе, доброе вино. Ты сам понимал это, потому что сейчас же прибавил с длинным вздохом:

– А помните, как мы с вами бывали от утра до вечера пьяны без вина, одной нашей любовью и радостью существования?

Внизу, в море, около камней показалась лодка. Большой, белый, стройный парус красиво раскачивался, опускаясь и подымаясь на волнах. В лодке слышался женский смех, и кто-то, должно быть, иностранец, насвистывал очень верно вместе с оркестром мелодии вальдтейфелевского вальса.

Ты тоже следил глазами за парусом и, не отрываясь от него, произнес мечтательно:

– Хорошо было бы теперь сесть в такую шлюпку и уехать далеко-далеко в море, так, чтоб берега не было видно... Помните, как в прежнее время?

– Да, умерло наше прежнее время...

Я сказала эту фразу совсем нечаянно, отвечая вслух на свои мысли, и тотчас же испугалась того неожиданного действия, которое произвели на тебя мои слова. Ты вдруг так сильно побледнел и так быстро откинулся на спинку стула, что мне казалось, будто ты падаешь... Через минуту ты заговорил глухим, точно сразу охрипшим голосом:

– Как странно сошлись наши мысли! Я только что думал о том же самом. Мне представляется чем-то диким, невероятным, невозможным, что именно мы с вами, а не какие-то двое совсем посторонних нам людей шесть лет тому назад так безумно любили друг друга и так полно, так красиво наслаждались жизнью. Тех двоих давно нет на свете. Они умерли... умерли...

Мы поехали обратно в город... Дорога шла все время через дачные поселки, застроенные виллами местных миллионеров. Мимо нас проходили изящные чугунные решетки и высокие каменные стены, из-за которых свешивалась на улицу густая зелень платанов; огромные, все в резьбе, точно в кружевах, ворота; сады, увешанные гирляндами разноцветных фонарей; ярко

освещенные роскошные веранды; экзотические растения в цветниках перед дачами, похожими на волшебные дворцы. Белые акации пахли так сильно, что их сладкий, приторный, конфетный аромат чувствовался на губах и во рту. Иногда откуда-то нас вдруг обдавало на несколько секунд сыроватым холодком, но тотчас же опять мы попадали в душистую теплоту тихой весенней ночи.

Лошади быстро бежали, звучно и равномерно стуча подковами. Мы плавно покачивались на рессорах и молчали. Когда мы были уже недалеко от города, я почувствовала, что твоя рука осторожно, медленно обвивается вокруг моей талии и тихо, но настойчиво привлекает меня к тебе. Я не сопротивлялась, но не отдавалась этому объятию. И ты понял, тебе стало стыдно. Ты оставил меня, и когда я, отыскав в темноте твою руку, признательно пожала ее, твоя рука ответила мне дружеским, извиняющимся пожатием...

Но я знала, что в тебе все-таки заговорит оскорбленное мужское самолюбие. И я не ошиблась. Перед тем как расстаться, у подъезда гостиницы, ты попросил позволения навещать меня. Я назначила день, и вот... прости меня... я тайком убежала от тебя. Дорогой мой! Если не завтра, то через два дня, через неделю в нас вспыхнула бы просто-напросто чувственность, против которой бессильны и честь, и воля, и рассудок. Мы обокрали бы тех двух умерших людей, устроив тайком фальшивый и смешной подлог под прежнюю любовь. И мертвецы жестоко отомстили бы нам за это, поселив между нами ссору, недоверие, холодность и – что всего ужаснее – постоянное, ревнивое сравнение настоящего с прошлым.

Прощайте. Сгоряча я и не заметила, как перешла в письме на «ты». Я уверена, что через несколько дней, когда утихнет у вас первая боль оскорбленного самолюбия, вы согласитесь со мною и перестанете сердиться на мой неожиданный отъезд.

Сейчас в дверь вошел швейцар и прозвонил первый звонок. Но теперь я уже уверена, что устою от искушения и не выскочу из вагона...

И все-таки наша короткая встреча уже начинает в моем воображении одеваться дымкой какой-то нежной, тихой, поэтической, покорной грусти. Знакомо ли вам это чудное стихотворение Пушкина: «Цветы осенние милей роскошных первенцев полей... Так иногда разлуки час живее самого свиданья...»?

Да, мой дорогой, именно осенние цветы! Приходилось ли вам когда-нибудь поздней осенью, в хмурое, дождливое утро, выйти в сад? Деревья – почти голые, сквозят и качаются, на дорожках гниют опавшие листья, везде смерть и запустение. И только на клумбах, над поникшими, пожелтевшими стеблями других цветов ярко цветут осенние астры и георгины. Помните ли вы их острый травяной запах? Стоишь, бывало, в странном оцепенении около клумбы, дрожа от холода, слышишь этот меланхолический, чисто осенний запах, и тоскуешь. Все есть в этой тоске: и сожаление о быстро промелькнувшем лете, и ожидание холодной зимы со снегами и с воем в печных трубах, и грусть по своему собственному, так быстро пронесшемуся лету... Милый мой, дорогой, единственный! Совершенно такое же чувство владеет теперь моей душой. Пройдет еще немного времени, и воспоминание о нашей последней встрече станет и для вас таким же нежным, сладким, печальным и трогательным. Прощайте же. Целую вас в ваши умные красивые глаза.

Ваша З.

1901

Александр Федоров

1868–1949

Осенняя поэма

I

Было время созревания винограда, и я ее ждал.

Стояли те удивительные дни на нашем южном приморье, от которых оживают старики и хорошеют некрасивые. Солнце, утратившее свою жгучесть и остроту, высасывавшие из земли соки, успокаивается. Все в природе начинает наливаться той полнотой и румянцем жизни, который сообщает зрелому телу освеженная кровь.

Краски становятся до того прозрачны и глубоки, что взгляд здоровеет и яснее от их ясности и чистоты. Яркие зори. Сильные росы. Новые, крупные, мало ароматные цветы на куртинах, светящиеся на закате, как бокалы с пурпурным вином... И самый воздух легок и крепок, как вино... Во всем этом есть глубокое очарование еще не высказанного откровения, – и мне сладко было ждать ее в моем одиночестве и думать о ней.

В то время как глаз замечал желтые и рубиновые листья на деревьях, ржавчину от рос на сжатых полях, ласточек, как четки черневших на телеграфных проволоках, – все первоначальные признаки и намеки осени, я все же ждал ее, как чуда, о котором не мечтается даже весною. Губы сами собой печально шепчут: осень... осень идет... А сердце ширится и поет от этого неизбывного ожидания, которому нет ни названия, ни предела.

Виноград зреет. Солнечные лучи наливают его янтарную сердцевину и растворяются в его соку. Виноградные кисти упруго и тяжело висят на своих коротких кустах в радостной обнаженности. Я все чаще повторяю ее имя.

А море густо синее и как будто пустеет, как поля; по ночам лунный свет в слезах блуждает здесь и там, подобно видению, оплакивающему несуществующую возлюбленную.

Вот я проснулся, открыл ставень, и сильное молодое утро говорит мне: «Здравствуй».

– Здравствуй.

Я чувствую легкость и радость тела, незнакомую ни в какое другое время года.

Сизоватая маслина под моим окном вся облита ровным солнечным светом; в ее тонах есть что-то голубиное, и она рада жизни, как и я.

– Здравствуй. Здравствуй. – Мне хочется сказать это слово бесконечно близкому, чтобы меня поняли сразу и от радости засмеялись в ответ. Нет, ее еще нет. Но она скоро будет; она должна быть, иначе все это ни к чему.

Птицы уже не свистят так беспокойно и сильно, как раньше; они повывели детенышей и научили их летать, но воздух так звонок и ясен, что их спокойные звуки как будто окрашены в свои нежные цвета, родные друг другу. Только стук, доносящийся с гумна, идет как-то особняком.

Ого, уже начали молотить без меня. Мне, как хозяину, немного совестно, что проспал. Я прислушиваюсь. Хорошо. Это один из тонов осенней трудовой музыки жизни. Освящается новый день. Почти языческое удовлетворение, недоступное горожанину, всегда внушает он мне и осмысливает в моем представлении существование.

Я почти бегом спускаюсь по тропинке к морю. На заре здесь прогнали коров вниз, где тянутся покрытые травой холмы. Пахнет коровьим пометом. В свежее августовское утро он почему-то напоминает о близости зимы и воздухе теплых коровников.

Запах моря чуть-чуть остро и влажно щекочет обоняние. Море так сине, что рыбачий парус кажется белее снега. Я открываю рот, и небо обливает влажная солоноватая свежесть, ощутительно проливающаяся в грудь.

Вода стеклянисто-упруга и прозрачна у берега: точно она и есть и нет ее.

Я весь отдаюсь воде; она неподвижная, но живая; не хочется разбивать ее руками, и я еле шевелюсь, еле подвигаюсь вперед почти одними изгибами моего тела; переворачиваюсь на спину, вижу над собою высокое небо с облаками, и ощущение животной близости со стихией расширяется до слияния с ней. Мне что-то хочется крикнуть, одно какое-то слово, в котором будет все – ее имя. Но я сдерживаю себя: недостает чего-то совсем маленького, чего-то вроде смыкания двух электрических токов, которые почти соприкасаются... Ток от меня идет к ней далеко; ей достаточно сделать маленькое движение. Но я его не чувствую покуда.

Вот она нынче-завтра будет здесь, – тогда другое дело. Ее младшая сестра Аля бывает у меня часто и много говорит о старшей, подозрительно много. Она могла бы говорить меньше.

– Ого! Вы теперь наверно ее не узнаете. Она, конечно, стала не та, что была в прошлый год. Ее засыпают цветами, а в газетах так и пишут: любимица публики.

Она во все глаза глядит на меня, видимо, гордясь своей сестрой, в то же время губы ее еле сдерживают смех, который то и дело вспыхивает и искрится в ее плутоватом, изящном лице.

Этой девочке девятнадцать лет, но она кажется шестнадцатилетней, и я отношусь к ней как к ребенку. Я не видел более болтливой и смешливой существа. Смех что-то неотделимое от нее, как игра в бриллианте.

Я как-то сказал, что не поверил бы ни в одну печальную историю, рассказанную ей.

Она всплеснула руками:

– Это ужасно! А между тем мне вовсе не так весело. Хотя бы вот сейчас.

Мне показалось на одно мгновение, что какая-то острая искорка сверкнула в ее чистых глазах, но в ту же минуту губы ее уже смеялись и, как жемчуга в розовой растворившейся раковине, сверкали влажные ровные зубы.

– Ага, верно, вы завидуете сестре!

Она неожиданно покраснела. Игра бриллианта в первый раз блеснула фальшиво.

– Завидую? Чему? – быстро спросила она.

– Да вот, что ее засыпают цветами и все такое...

Но бриллиант опять переливается чистейшей игрой.

– Я завидую?... Цветами... и все такое. – Она обрывает смех и искренно говорит: – Завидовать можно только тому, что доступно... А разве можно завидовать луне, что она светит и ей поклоняются.

– Положим... – с неприятным самому мне чувством говорю я. – Положим, театральные лавры, особенно провинциальные, очень дешевы у нас...

Она не на шутку оскорбляется за сестру:

– Ну, уж извините. Вы не любите театра, потому и говорите так. Ее не только публика, но и актеры считают выдающимся талантом в сценическом искусстве.

Когда Аля хочет говорить серьезно или о серьезных предметах, кажется, что она читает по книге. Долго, однако, она этого тона выдержать не может и опять смеется. Смеясь, переходит из оборонительного положения в наступательное и вышучивает мою ревность, не называя, однако, этого чувства прямо, вероятно, из детской стыдливости.

– Я все-таки не вижу причины, почему она должна перемениться, – говорю я, задетый за живое ее поддразниванием. – Ну, пускай успех, талант и все такое... Умный человек не станет от этого задирать нос.

Она опять ополчается за сестру.

– Задирать нос! – стараясь изменить свой голос до баса, каким будто бы говорю я, повторяет она с гримасой мои слова. – Как это похоже на Ольгу. Она не из таких, чтобы задирать нос. А просто стала серьезнее и ее уже не могут занимать те пустяки, которые занимали раньше.

И опять глаза ее смеются, в то время как губы с преувеличенной важностью выговаривают:

– Она всецело посвятила себя служению искусству и даже книги все читает такие... такие...

– Что вы не можете выговорить, – перебиваю я ее.

Она разражается звонким смехом и в то же время обвиняет меня, что я недостаточно серьезно отношусь к Ольге.

– Вы хотите обратить в шутку то, что свято для сестры.

– Я только сказал о вас... что вы не можете выговорить...

– Книжки такие... Я хотела назвать, а вы перебили.

– Ну?

Она выпаливает с торжеством:

– «Религия красоты». Что? Съели! Вы, наверное, никогда не видели даже этой книги и не сумеете с Олей поддержать разговор, когда она придет.

Бриллианты снова переливаются светящейся игрой, и жемчуг зубов сверкает из-за пурпурной раковины рта.

II

О, только бы скорее приехала!

Я больше не могу заниматься как следует делом. Я почти обезумел от желания видеть ее, которое обступает меня все сильнее.

Могущество жизни вливается в меня с каждым глотком воздуха, с этими страстными голосами красок, которые дрожат в последних напряжениях, и я слышу безумные призывы к наслаждению, во всех ароматах, вздохах и в трениях волн о морской песок, на котором остаются следы их прикосновений, следы длительных их поцелуев... В солнечных лучах... В звездах...

Я не забуду, как в прошлом году старый дуб, недалеко от моего дома, своей золотисто-пурпурной листвой пылал на солнце, подобно громадному костру. Иногда он казался мне почти живым, точно легендарная жар-птица, распушившая свои красивейшие перья в исступлении своей любви. Это был пожар блаженства, от которого вся кровь его изнутри выступила наружу. Я ахнул, взглянув на него на другой день утром: весь этот убор пластом лежал на земле, потускневший, как бы сожженный вчерашним таинством страсти, измятый бесконечными объятиями.

Во всех работах этой поры есть что-то чувственное, почти языческое. Даже в работах со святым хлебом. В воздухе разливается то возбуждение, которое разрешится скоро хмельными деревенскими свадьбами. Особенно это чувствуется на винограднике.

Вот он, весь покрытый матом росы, просыпается на заре. Ветер целует сочные кисти, легкие в своей упругости и полноте, как груди, поднятые желанием. Чувственные стихи царя-певца Соломона поют славу красоте винограда. С восхода до заката солнце пламенеет и тоскует в спелых янтарных каплях. Оттого вместе с веселым жаром в вине горит опьяняющим пламенем какая-то ненасытная тоска.

Я почти чую живую душу в виноградных кистях; сильную страстную душу, которая радуется жизни и солнцу и продолжает жить и чувствовать даже по окончании этой жизни. Вы только подумайте: когда начинает созревать виноград, вино бродит в бочках, – мертвые посылают привет живым из своих деревянных гробов. Это ли не чудо!

Один вид винограда опьяняет меня, и я, не помня себя, все представляю здесь ее, ее, и шепчу смешные, неожиданные слова...

– О, ты... Ты моя нежная... виноградная.

На винограднике начались работы. Девки-работницы выбирают и режут первые спелые кисти. Виноград опьяняет и их здоровые, грубые тела; и босые тяжелые ноги их, топчущие

землю, становятся как будто легче, и голоса их, о чем бы они ни переговаривались, ни пели, все звучат одним призывом.

Вчера вечером...

Да простит меня небо – и она, но это не измена. Чтобы вино не разорвало мех, нужно на мгновение открыть его. Мое сердце – это мех, в котором бродит вино.

Я не нахожу места себе. Из виноградника я иду в степь, из степи на море. Иногда я беру с собой ружье и стреляю в воздух, вовсе не желая проливать чью бы то ни было кровь.

На берегу моря есть в одном месте два огромных камня; они стоят друг против друга почти у самого обрыва. В прошлом году, когда я красил около них свою лодку, была вместе со мною и она.

Когда я вывел на лодке красную полосу киноварью, она молча взяла кисть и, не говоря ни слова, написала на одном из камней мое имя. Затем, как ни в чем не бывало, отошла от лодки и, не глядя на меня, стала бросать камешки в воду, ловко делая рикошеты на гладкой поверхности.

Я весь задрожал от радости: схватил кисть и на камне, стоящем рядом, вывел ее имя.

И имена, написанные на камнях яркой киноварью, запылали на солнце.

Это было как бы торжественное обручение, наивный символ, который являлся прекрасным таинством здесь, на пустынном берегу, у самых чистых волн стихии, в изначальном храме Господа Бога.

Мы, кроме этого, ничего не сказали больше друг другу о своей любви. Но если бы я тогда обратился к ней: «Будь моею», она бы ответила радостным криком. Я видел, я чувствовал это... Но я не решался, не решился.

Вино перебродить должно, чтобы его можно было пить. Так объяснил я себе свою нерешительность, и ждал, и дождался: вино перебродило и окрепло.

Дожди и ветры и бешеные равноденственные бури, бросающие свои волны до самого обрыва, успели обесцветить краску и стереть кое-где буквы. Это меня огорчало: буквы не должны были тускнеть, и я к ее приходу подновил краски, так что они опять горели на солнце, как тогда. Этого никто не видел. Но на другой день, когда я пошел посмотреть, подсохли ли краски, я заметил, что кто-то пытался выскоблить, стереть ее имя.

Я напрасно ломал голову, кому это могло понадобиться. Уж я бы сумел отплатить за эту злую выходку, если бы нашел виновного.

III

Аля не приходила целых два дня. Что бы это значило?

Я сам отправился к ним вечером. Красная черепичная крыша их хутора чуть-чуть светилась, хотя было уже почти темно, точно отдавала воздуху заревой свет, впитавшийся в нее после заката.

Мать и отец, наверное, по обыкновению играют у соседей в винт и ссорятся там из-за карт. Тем лучше, а то опять начнут вздыхать о дочери и просить меня поколебать ее страсть к сцене.

Дом темен весь, за исключением одного окна: комнатка Али. Значит, она дома.

Уж не больна ли?

Навстречу мне с лаем бросилась собака, – знакомый мне мопсик Бутон. Я окликнул его; он виновато стал ласкаться, делая вид, что пошутил со мной, и только.

Но в ту же минуту свет в окне погас.

Я остановился.

– Аля!

Никто не ответил.

Я подошел ближе к окну. Тихо. Но другое, также открытое сбоку окно, выходящее в садик, как-то подозрительно молчит.

Собака дома, значит, дома и она.

Я с досадой повернулся и ушел, ничего не понимая.

IV

На другое утро Аля объявилась.

На мой вопрос, почему ее так долго не видно, она ответила, смеясь:

– Разве вы заметили мое отсутствие? Ах да, впрочем, вот глупая. При чем тут я!.. Вам важно знать...

Я ее перебиваю:

– Отчего вы спрятались или выпрыгнули в окно вчера, когда слышали мой голос?

Она, очевидно, приготовилась к этому вопросу и разыграла недоумение:

– Я?.. Вот новость! Меня вечером не было дома.

Однако в глазах ее я уловил беспокойство, которое тотчас же залилось смехом.

– Я принесла вам важное известие...

Но я опять умышленно остановил ее, стараясь показать, что это известие вовсе уж не так для меня важно.

– А знаете, Аля, вы загадочная натура. Отчего вы никогда не смотрите мне прямо в глаза?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.